

Л. АННИНСКИЙ



# Ось маятника

## ЧТО ТАКОЕ ТЕАТР СПЕСИВЦЕВА?

... Секрет в монтаже. «Лаваш» идет под старинную княжью песню, а спектакль о Разине — под русскую народную песню на неярковские слова, написанные как раз во времена Лаваша. Конкретные приемы смежны и перемешаны. Музыка, мощно сопровождающая действие, дает не окраску эпохи или периода, а ощущение русской культуры вообще; того оплодного духовного целого, которое не вмещается ни в один «период», а уходит хорнами в толщу и держит человека всегда. Даже если расколото, даже если осколком — не ощущение острого, ранящего осколком культуры построено у Спесивцева. Ранящая и горестная мастерия о Лаваше, — так даже и в осколках эта культура магнетически действует и адруг, срывается и оживает, дает Бунтаря.

Бунтарь — разращание спесивцевской мироконцепции. Разин. Ланни. То исконно — русское, что реализовалось в них.

Сравниваю мысленно два театральные прочтения шукшинского «Разина»: у вихляющего в спектакле М. Ульянова и у Спесивцева. Подход вихляющего мне ближе, понятнее: там зашевелили противоречивость разинского бунта, и ужас от сознания гибели составших был неотделим от понимания сделанных ими ошибок. Спесивцев говорит не об этом. Он отвлеченно знает, сколько было в разинстве и ошибок, и непредсказуемой «дури», он знает все разумные доводы различных оппонентов, но это для него не доводы. Он огирается не на разум, а на органику бытовое или исторической логики, а на категорический императив страсти, уходящей в глубинный, подспудный, подпочвенный и как бы «предисторический» слой в душе человека. Вы встаете на точку зрения XX века, и спесивцевский Разин кажется вам человеком века XVII, спонтанно — легендарным для нас, но стоит вам встать на точку зрения века XVII, то есть — для Разина — конкретно — исторического времени, имеющего свою логику, — и спесивцевский герой покажется вам человеком XIV или XIII века — человеком тех славяно-византийских времен, когда «в лесах, хитра и копя силы, собиралась Русь. Какой-то архаической, «дохристианской» и «дологической», немилосердный и жестокий, но и непобедимый, несокрушимый слой души встает со дня. Расплавленная лав, огонь изначальной изложницы, мистерия стовой. То самое, что с такой силой и крутостью выразил сейчас в поэзии Юрий Кузнецов:

Ударил из тьмы поколений  
Небесный громовый раскат —  
Мой прапок упал на колени...  
И в тем же страхом обнят.  
Упал на колени и поднялся с колени...

Теперь о страхе, которым в «Лаваше» на спектакле Спесивцева. Уточняя для себя то сложное и полное тревожа ощущение, которое вызывает у меня это искусство, я должен напомнить себе и читателю, что речь идет не об отдельных спектаклях, а о феномене этого театра как явления нашей духовной жизни. Что до спектаклей, то иные из них (и прежде всего инсценировка лесковского сказа) замечательно близки мне по духу, иные (инсценировка романа Распутина) потрясли, хотя и вступили, третьи же (например, спектакль по повне Евтушенки «Казанский университет») мало тронули и не убедили по причине разных я и слабостей. Но даже и в этом последнем случае я, зритель, не хотел бы, чтобы Спесивцев что-либо менял в своей режиссерской партитуре. Он может «недотянуть». Но то, что он говорит, — страшно важно.

### В чем суть моей тревоги?

А восстановите мысленно ту театральную линию, против которой востает Спесивцев, — и вы поймете.

Размышляющий индивидуум, отдельный и независимый, зритель и свободный в определении своего места в мире, критический оценивающий вещи и события, пусть скептический, но пытающийся все объяснить, живущий здесь и сейчас, болью момента и реальностью дня, — вот внутренний антитепа Спесивцева, которого он уничтожает материальным качем своего мощного маятника. Нет выбора — только страсти, только терпение, только огонь сожигющий.

Боюсь этого огня. Боюсь безудержности этих страстей. Боюсь маятника. Хотя знаю, что неизбежно. Мне, выросшему на традициях «свободного мышления», осознавшему себя на искусстве... не будем ходить далеко... на истории прозрения и кризиса театра «Созревания», с его реализмом обстановки, с его логикой чувства, с его, строго так, светлым балансом скепсиса и петиции, — мне не просто смириться и отказаться от моего театра.

Я и не отказываюсь. Я с тревогой жду, что ответят на вызов Спесивцева Волчек и Ефремов, Табаков и Фокан.

Ибо театр Спесивцева — не просто блестящая серия работ приращенного мастера и профессионала. Это явление духа, неожиданно, мощно и глубоко выразившее современное человека. Это искривление в современном человеке такого глубинного душевного пласта, какой еще недавно казался подспудным, невидимым, неважным и вполне архаичным. Но этот пласт есть, и мощь его огромна.

Отсюда — странная слава Вячеслава Спесивцева, ворвавшегося в центр театальной жизни из «темных глубин» полупрофессиональной «художественности». Не случайно же сотни добровольцев счастливы, деля ему декорации и реквизит, обеспечивая его виртуозные постановки и филигранную партитур его сценической инженерии. Не случайно сотни московских школьников и студентов готовы поступить в его театр и делать все, что он скажет. В душах этих молодых людей оживил тот духовный пласт, на который опирается Спесивцев.

Сколько в его театре мест? Считаю я на разных спектаклях, выходило по-разному, но в общем, что-то порядка ста—ста пятидесяти. Так вот; каждое первое и третье воскресенье месяца эти несколько сот билетов выбрасывают в кассу и распродают в течение двух часов: от трех до пяти.

Очередь стоит с вечера предыдущего дня. Всю ночь. Со спектакли, номерами и парадными.

Это — театр Спесивцева.

